

Павел КРУСАНОВ

Родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил педагогический институт им. А.И. Герцена (ЛГПИ) по специальности «география и биология». Работал осветителем в театре, садовником, техником звукозаписи, инженером по рекламе, печатником офсетной печати. С 1989 года начал работать в издательствах на редакторских должностях. В настоящее время – главный редактор издательства «Литературная матрица».

Автор романов («Укус ангела» и других), сборников прозы. Лауреат премии журнала «Октябрь» (1999), финалист премии «Национальный бестселлер» (2003, 2006, 2010) и премии «Большая книга» (2010), лауреат всероссийской премии искусств «Созидающий мир» (2020), литературной премии «Гипертекст» в номинации «Проза» (2023).

Живет в Санкт-Петербурге.

О СЧАСТЬЕ

Разжогову повезло – после зачисления на физфак в келье общежития, расположенного в Межвузовском студгородке на Новоизмайловском, его поселили одного, без соседа. Многим иногородним студентам родители снимали в Петербурге жильё, а некоторые и сами, утомлённые строгостью проходной и неустроенностью быта казённого угла (душ, туалет и кухня – на этаже), снимали что-то в складчину на двоих, так что в здешней учебной казарме были счастливики, имевшие в своём распоряжении целую комнату. По невероятной случайности, не приложив ни малейших усилий, Разжогов очутился в их числе. На первый взгляд, учись, и только, – образцовые условия. Но на деле эти условия, как и всё образцовое (стерильное), оказались недостаточными для полноценной жизни: где тишина и покой, там и одиночество, а бремя его по силам далеко не каждому. Тяжело давалось оно и Разжогову.

Поначалу, ещё не успев обзавестись в Петербурге друзьями, он в своей клетке с письменным столом у окна и двумя кроватями вдоль стен временами разговаривал сам с собой, а спохватившись, пугался и чувствовал на затылке и макушке под нерасчёсанными волосами движение мурашек. Сентябрь был по-летнему тёплым, в открытое окно из парка Авиаторов иной раз залетал шмель и гудел, слепо натываясь на желтеющий потолок и покрытые ветхими обоями стены, – он ударялся и отскакивал от них, точно крошечный ворсистый шарик, пока какая-нибудь поверхность не отфутболивала его назад в спасительное окно. Особенно остро Разжогов переживал свое одиночество по вечерам, когда с улицы струился отверженный осенний свет, а за стеной помимо привычных мужских голосов слышался вдруг девичий смех, непринуждённо весёлый и, как казалось,

неподдельно счастливый. Там, за стеной, радовались жизни и, наверное, даже любили. В такие вечера Разгогов чувствовал себя лишним на земном празднике – он лежал на кровати, разглядывая желтовато-серые пятна на потолке, или ходил по комнате из угла в угол, чтобы хоть скрип разошедшихся половиц засвидетельствовал его присутствие здесь, вблизи так легко и досадно обходящегося без него радостного пира.

Впрочем, это продолжалось недолго – считанные дни. Вскоре он обрёл приятелей из числа однокурсников, и чувство непричастности к весёлому хороводу жизни покинуло его. Покинуло настолько, что иной раз голову Разгогова стали посещать разнообразные мысли – такие же случайные и нелепые, как некогда в родном Светлом Яру под Волгоградом, где в школьные годы он занимался боксом – по мнению отца, это воспитывало характер, а по мнению, матери травмировало извилины.

Трезво оценивая себя, Разгогов понимал, что *спесь философских дум* – не его тема. Однако по меньшей мере в одном пункте он чувствовал своё родство с Заратустрой – подобно этому жителю гор, Разгогов не был врагом девушек.

* * *

Она пропустила первые полторы недели занятий из-за бронхита. Поэтому, войдя в аудиторию, где под руководством доцента Инны Карловны у группы Разгогова шёл семинар по механике, и впервые увидев своих сокурсников, успевших за это время худо-бедно перезнакомиться и отчасти даже сдружиться, смутилась и покраснела. Вслед за ней в аудитории появился декан Артём Михайлович, опрятный мужчина с цепким, как коготь, взглядом и смуглым лицом в сетке резких морщин, выразившим усталую сдержанность.

– Гляди-ка, у нас новенькая, – негромко сказал Вася Овечкин, староста группы, с которым у Разгогова уже завязались узы товарищества.

Разгогов не ответил – он онемел, так хороша в своём смущении была эта девица, одним своим видом изгнавшая его из стен аудитории в рай. Круглое, очаровательно скуластое, ещё по-детски нежное лицо; чёрные, стриженные чуть выше плеч волосы с матовым блеском – так в антраците посверкивает ещё не добытый огонь; влажные, по-восточному слегка раскосые глаза; припухлые губы, манящие неподдельной свежестью... Её ладную фигурку облегалo воздушное, пепельного цвета платье с короткими рукавами, казавшееся лёгкой дымкой – чем-то невещественным, как вздох, как будущее.

– Знакомьтесь, это Кабира Ежова. – Декан повернул голову в сторону девушки. – Она поступала с вами в одном потоке. С этого дня Кабира будет учиться в вашей группе.

В лихорадочном июне, во время подачи заявления и потом, в ожидании результатов конкурса, Разгогов Кабиру не встречал, это точно – видел бы, нипочём бы не забыл. Со многими студентами своего курса, с тем же Васей Овечиным, он в абитуриентскую страду не пересекался – только осенью после начала занятий.

– Я против, – хамовато откликнулся ещё не отвыкший от школьного шутовства коренастый Карпович, балагур и похабник с копной чёрных волос над низким лбом. – Её приголубишь, а она иглами – бац!..

Карпович вскочил с места и выразительным движением огладил перед собой нечто воображаемое. Несколько девичьих смешков послужили ему скромной наградой.

Кабира опустила глаза. Декан, не меняя усталого выражения лица, посоветовал Карповичу сесть, не пестрить и лучше с надлежащим усердием *приголубить* Поляхова – автора учебника «Теоретическая и прикладная механика». Тут уже приснули юноши – Артём Михайлович не слишком ревностно следил за соблюдением принятой в профессорской среде дистанции в отношениях с бурсаками. Кабира от смущения ещё пуще залилась краской.

– Трепетная, – переглянулась с подругами Люда Краева, требовавшая от всех называть её Милой. – Как гимназистка.

Краева считалась лидером мнений среди девичьей части курса и уверенно вела себя с мужчинами. У неё был масляный, порочный взгляд и предпочтение к колготкам ярких цветов (лиловый, сиреневый, серебряный), а когда она проходила мимо Разжогова, то всякий раз старалась выразительно коснуться его упругой грудью. Говорили, что родители Милы богаты и довольно влиятельны, однако это (иное дело, будь они строги) ничуть не мешало ей жить в своё удовольствие, – она слыла энтузиасткой всякого рода вечеринок и была охотница до разговоров *о любви*, начиная беседу примерно так: «Когда любишь, постели тебе уже недостаточно». Удивительное дело – ей казалось, будто всем ужасно интересно знать, что у такого-то конец тонкий и длинный, как карандаш, а такая-то любит предаваться утехам на столе, распластавшись на нём, точно курица для разделки.

Миле декан ответил:

– У Кабиры самый высокий балл по ЕГЭ. Выше нет ни у кого на курсе. Так что, если понадобится, она и вас, альтушек, подтянет.

На этом Артём Михайлович посчитал свою миссию завершённой и степенно удалился.

Не поднимая глаз, Ежова проследовала по проходу между рядами к свободному месту за дальним столом, где одиноко сидел Даня Селиванов, сирота и по жизни – его родители четыре года назад погибли в автомобильной аварии. Инна Карловна, поправив на голове трудоёмкую причёску из крашенных в медно-рыжий цвет волос, продолжила занятие. Однако до конца пары динамика, кинематика и статика твёрдого тела больше уже не интересовали Разжогова – он то и дело оглядывался на Кабиру, целомудренно мечтая и в мечтах досадуя на то, что место рядом с ним за столом занимает Овечкин. Будь это не так, новенькая не прошла бы мимо и теперь, источая ягодные ароматы кисельных берегов, сидела бы с ним по соседству.

В Петербург, как выяснилось в тот же день (новости на курсе доставлялись с удивительной скоростью), Ежова приехала из Орска. В жилах её смешались русская и казахская крови, и как это иной раз случается у метисов, не скрестили клинки, а напротив – одарили Кабиру невыразимой прелестью, собрав воедино все лучшие черты, присущие физике обоих народов. Всё прошлое в Разжогове в тот день словно оборвалось. Бывает, люди что-то принимают за счастье только потому, что прежде не знали ничего лучшего. А когда наконец узнают, то понимают, что никакого счастья до этого и не было – одно наваждение, мнимость. Словно ночную сторону жизни вдруг озарил дневной свет – и та сразу умерла, лишившись прелести и загадочности. Той загадочности, которая обычно умножает величие. Это была простая и в целом довольно грубая мысль, но Разжогов пронзительно её почувствовал и, оглушённый, не мог выразить иначе.

Когда прозвенел звонок, возвещавший конец занятия, Разжогов, скашивая глаза за плечо, вместо второго закона Ньютона изучал тонкую

шею Кабиры, с просвечивающими под кожей венами, в которых билась слившаяся воедино кровь потомков славян и золотоордынцев.

Инна Карловна поднялась из-за стола и вышла из аудитории. Студенты, устремившись следом, скучились в дверях, и в этот миг, перебив фоновые шумы, аудиторию огласил сочный звук пощёчины. Все обернулись. У дальнего стола стоял бледный Карпович, злым взглядом испепелявший хрупкую спину идущей к выходу Ежовой.

* * *

До зимы Разжогов так и не нашёл ни повода, ни внутреннего усилия, чтобы сойтись с Кабирой ближе. При одной мысли о том, чтобы решиться, подойти и заговорить с ней о сокровенном, всё его существо немело – слишком это было желанно, слишком пугающе. Разжогов вовсе не был скромником, но тут словно запрет – с ней, как с другими, невозможно. Его сковывало неясного происхождения безволие, как бывает во сне, – он списывал его на счёт рыхлости доставшейся ему по наследству породы, которую так и не укрепил подростковый бокс. Месяц за месяцем они по-прежнему оставались друг для друга просто приветливыми сокурсниками, и только. Благо никто другой, кажется, не спешил опередить Разжогова – это его утешало, но вместе с тем и расслабляло. Потом началась зимняя сессия с зачётами, экзаменами и беспутными попойками в промежутках между ними, происходящими по большей части в общежитии на Новоизмайловском, в которых (попойках) не принимала участия из всей группы, пожалуй, одна только Ежова.

Кабира избегала застолий, да и вообще сторонилась компании сокурсников: ведь они жили на ощупь и учились как будто не всерьёз, словно играя, она же жила и училась вдумчиво и целеустремлённо. Взаимно отвергаемая (спокойно, без обид) отвергнутыми ею товарищами, вечерами напролёт, пока её беззаботная соседка по комнате, крашенная блондинка Ангелина, наслаждалась свободой взрослой жизни, Кабира упорно постигала науку за письменным столом, ничуть, казалось бы, не тяготясь столь трудно выносимым в юности одиночеством. Разжогову, например, чтобы вынести его, не хватало душевных сил.

Теми же вечерами Разжогов с Овечкиным часто сидели в его комнате-келье, окутанные клубами табачного дыма, извергаемого старостой группы (курить в комнатах общежития запрещалось, но – для исполнения запрета – недостаточно строго), и за бутылкой вина или водки, удивляясь внезапно распахнувшейся в них глубине, вели философические разговоры. Вася жил на Петроградской возле «Ленфильма», и хотя слегка надувал щёки, открывая Разжогову непарадные тайны Петербурга, сам между тем любил бывать в общежитии, ценя царившую там – стоило миновать вахту – атмосферу вольности, которой ему не хватало под родительским кровом.

– Война мышей и лягушек, – закуривал очередную сигарету Овечкин. – Оставь ты эту тяжбу злых и добрых дел. Она никогда не закончится. Известно: на одной чаше – жертвы, невинные и виноватые, на другой – Победа и Гагарин. Уже оскомина...

Разжогов отвечал:

– Просто не люблю вот этого: как же ненавидим мы Советы за то, что презирали деньги и позором считали наживу... За то, что бесплатно учили, что извели чуму и холеру, что врачевали даром и даром давали крышу над макушкой... За то, что воздвигали улей пчёл трудовых

и не вводили во искушение, за энтузиазм великих строек и освоения пустых земель... За то, что не забывали обещаний и исполняли угрозы, что всё, как могли, делали сами – от иголки до ракеты... За то, что тащили и не пущали, а лучшее кино и лучшие песни всё-таки сняты и спеты при них... За любовь без корысти, за наивность мечты – за это проклинаем Советы на всю длину вечности. Вот чего не приемлю.

Вася Овечкин улыбался:

– Понимаю, но... Не смотри назад. Это запрещено. Это запрещалось во все века. И за этим всегда следовало наказание. Вспомни Орфея, вспомни жену Лота, вспомни всех, кто смотрел в прошлое и там искал образ будущего – «Аненербе», древние укры... И себя тоже вспомни. Человека неизменно наказывали за то, что он обернулся.

Вася вновь щёлкал зажигалкой. Он постоянно курил, и оттого создавалось впечатление, что из-за своей тонкой душевной организации, которую может невзначай разладить напитанный тихой грустью сырой петербургский воздух, он способен дышать только через сигаретный фильтр. Вообще, Овечкин был во всём необычайно самобытен – так казалось Разжогову – и даже шарф вокруг своей шеи закручивал каким-то специальным удушающим узлом.

– А ещё его наказывали за слово «любовь», в котором не было самой любви, – круто поворачивал разговор Разжогов. – И за счастье, которое, не будучи счастьем, таким казалось. Потому что любовь – это такой инструмент, который оценивает тебя, измеряет и взвешивает... Но сам ты этого не знаешь и не видишь, если в тебе такого инструмента нет. А тебе, дураку, кажется, что если в тебе его нет, ты неуязвим...

Пока другие жили на ощупь и учились не всерьёз, Кабира преуспевала по всем предметам. Профессора её хвалили, а Инна Карловна, выводя пятёрку в её зачётке, говорила: «У вас редкие способности. Вам следует идти в науку». Ежова смущённо улыбалась и опускала взгляд. Не подавая вида, сокурсники завидовали ей, а Кабира, не подавая вида, завидовала им, таким беспечным, лёгким, умеющим из всякой чепухи сделать праздник и жить вслепую. Она видела, как после зимней сессии из группы отсеяли двоих, не выдержавших экзамены-лотерею, – видела и делала закономерные выводы. А остальные? Поразительная беззаботность: остальные простились с неудачниками, словно бы не открывая глаз, и тут же о них позабыли, не извлекая урока и не допуская, что вслед за этими двумя может подойти и их черёд.

Мила Краева, охочая до разговоров *о любви*, и вовсе наколбасила. Однажды полицейские, проезжая в патрульной машине по Кузнецовской улице, обнаружили её на газоне, недалеко от грузинского ресторана «Чито Гврито», где Мила в апельсиновых колготках с пьяным хохотом каталась по присыпанной свежим снегом пожухлой траве. Её доставили в отдел, но и там она вела себя неоправданно дерзко – сбила с дежурного фуражку и угрожала весь состав отдела лишить погон, – благодаря чему сведения об инциденте дошли до деканата. Миле грозило отчисление – весь курс вразнобой гудел, позванивал и тренькал от этой новости, как оркестровая яма перед увертюрой... Но обошлось, отделалась предупреждением. Слухи, между тем, ходили разные:

а) Краева откупились;

б) отец Краевой подключил связи или употребил власть;

в) Краева переспала с Артёмом Михайловичем.

Карпович настаивал на последней версии и в её доказательствах был увлечённо многословен. Когда он вещал, он был уверен, что остроумно

и изящно мыслит, хотя к работе ума его шутовские упражнения не имели никакого отношения. Скорее, тут можно говорить о механическом повторении расхожих и довольно сальных остроумий, часто употребляемых и потому уже почти потерявших всякую остроту, – причём о повторении в забавных и нелепых сочетаниях. Так действует искусственный интеллект, если ему недостаточно чётко сформулировали задачу.

– Я смотрю, мы с тобой братья, – сказал как-то перебивающему Милины косточки Карповичу Даня Селиванов.

– Это почему? – наморщил лоб Карпович.

– У меня – ни отца, ни матери, у тебя – ни стыда, ни совести.

* * *

На каникулах в родном Светлом Яру Разжогов постоянно думал о Кабире. Он думал, что любовь – это такая религия, в храме которой божеству поклоняется только один богомолец. Ведь ты любишь потому, что кто-то стал для тебя божеством, и нет ничего желаннее соединения с ним. Но если появится ещё хотя бы один прихожанин – храм тут же превращается в бордель. Или ещё хуже – в круги Дантова ада.

Во время кутежей в компании старых друзей и их подруг, жаждущих встречи с фартовым куликом, перепорхнувшим из своего приевшегося болота в трясину мечты, он смотрел по сторонам и испытывал противоречивое и новое для себя чувство узнавания и отторжения. Нет, всё это теперь было не его... Все эти мрачные забегаловки и шалманы, где пивная отрыжка, грубый флирт и блестящие от чебуреков губы перемешаны в одну крошку, где даже морозный утренний туман пахнет прокисшим супом... Там пьют допьяна, едят пока лезет, любят женщин где придётся, и лица людей там лукавы и нечисты. Ему было немного стыдно за это новое чувство, словно бы он что-то в себе предавал, но ничего поделать с собой Разжогов не мог. Так изменила оптику его хрусталиков Ежова, не пошевелив для того даже пальцем. И ему, чтобы оставаться *своим*, чтобы не прослыть спесивцем и павлином, тоже приходилось пить, есть покрытые волдырями чебуреки, любить какую-то прилипшую к его плечу кошёлку, которая будет верна ему до самого утра. При этом нигде так быстро всё тайное не становилось явным, как в таких вот городках...

Разжогов тосковал от мысли, что где-то ведь, чёрт побери, есть чистая – без чада – жизнь, искреннее веселье и непритворный, чуткий разговор. И душа его зывала к небесам, чтобы те указали верный путь к тем отмытым до блеска берегам, где на пьедестале его ждёт Кабира. Тогда он в тысячный раз давал себе слово наконец открыться ей, всё сказать, а дальше... будь что будет.

* * *

Начало второго семестра Разжогов встретил с облегчением, хотя ничто после его возвращения в Петербург по существу не поменялось – студенческая жизнь шла своим чередом, а безволие и внутреннее оцепенение по-прежнему не позволяли ему решиться на отчаянное признание. И так – до самой весны.

Накануне 8 Марта в город пришла оттепель. Сначала было пасмурно, потом разяснело, и из-за облаков выглянуло ещё несмелое, однако уже и не ледяное солнце.

На следующий день с крыш потекло, воздух наполнился смутным, но светлым предчувствием и неопределённым, но радостно волнующим

щим ожиданием. Разжогов с Овечкиным, шурясь на весеннее светило, отправились в магазин, а когда, побрякивая бутылками и бережно следя за сохранностью кипы завернутых в бумагу тюльпанов, возвращались в общежитие, возле одного из домов на Новоизмайловском их чуть не накрыл пласт сорвавшегося с карниза крыши, заледеневшего за ночь, но теперь поплывшего снега. Они восторженно переглянулись. Событие их не напугало, напротив – развеселило: в мире весна, они молоды, бодры телом, легки душой и почти бессмертны.

В комнате Дани Селиванова готовился пир – мужская часть группы собиралась чествовать сокурсниц. Нарядные девицы, довольные поводом и предвкушавшие лестное к себе внимание, тоже не сидели без дела: рубили на кухне салаты, жарили куриные бёдрышки, доставали из запасов домашние закрутки, носили яства и накрывали поляну, собрав по комнатам остальных участников пестринки тарелки, вилки, рюмки и стаканы.

Из питерских, живущих в родительских гнёздах, были Овечкин, Карпович и Мила Краева, остальные – сборная общежития со всех краёв страны. Наконец сели за стол. Селиванов взял в руки штопор, намереваясь открыть дамам вино, Карпович ухватил бутылку водки.

– Нет-нет! – в театральном порыве выбросила над столом руки Краева. – Так не годится. Состав не полный.

Она обвела взглядом собравшихся, словно пересчитывая по головам.

– Ежову приглашали? – спросила наконец.

– Я звал, – кивнул Селиванов. – Не пришла.

– Плохо звал. – У Милы была новая причёска – на виски падали пружинки локонов.

– Хочешь колючую в омут заманить? – бросил на Милу шальной взгляд Карпович. – Дохлый номер.

По натуре Карпович всё же больше был азартным болельщиком, чем форвардом на поле, хотя казаться перед другими хотел именно последним.

– Имею намерение. – Краева поднялась из-за стола. – Или сегодня не праздник?

Девицы одобрительно зашумели.

– Безнадёжно, – глядя вслед скрывшейся за дверью Краевой, заверил Селиванов. – Не придёт.

Гости непринуждённо болтали, шутили, азартно накладывали в тарелки салаты, один Разжогов в ожидании итога Милиной затеи сидел как замороженный.

Вася Овечкин для развлечения публики загадал головоломку:

– Представьте... Вот, скажем, приехал дачник в захолустный городок, пришёл в магазинчик садового инвентаря и дал хозяину в залог купюру... Допустим, пятитысячную. Чтобы тот не продавал до завтра единственную имеющуюся в наличии газонокосилку. Завтра, мол, он приедет с женой и, если той газонокосилка придётся по душе, он её купит. Владелец магазина взял купюру, отправился в автомастерскую и отдал механику долг. Механик взял деньги и отдал свой долг хозяину мясной лавки. Хозяин лавки отдал долг фермеру, разводящему бычков. Фермер – печнику за починку камина, печник – стекольщику, застеклившему ему веранду, стекольщик – хозяину заправки, а тот – владельцу магазина садового инвентаря. – Тут Вася совершил движение рукой, которое могло означать всё что угодно. – Назавтра дачник приехал с женой, и та сказала, что газонокосилка ни к чёрту не годится – допустим,

не подходит под цвет её глаз. Дачник попросил залог обратно. Владелец магазина отдал купюру. Каждый остался при своём, но и все долги городишки были оплачены. В чём фокус?

– Нам интересно, – признался за весь стол Карпович, – прямо исчезались все.

Но головоломка осталась неразгаданной, потому что в этот миг дверь отворилась и на пороге с торжествующей улыбкой на лице возникла Краева. Вслед за ней под одобрительные возгласы в комнату вошла Кабира, как обычно смущённая и словно бы извиняющаяся за своё существование. Видимо, тонка и ненадёжна была нить, с нанизанными на неё бусинами её жизненных устоев, и сама она эту хрупкость чувствовала.

Потеснившись, Ежову усадили за стол, и тут же в стаканы потекло вино, а в рюмки – водка. Карпович, повелев мужчинам встать, произнёс предсказуемый тост – за присутствующих дам, при этом предложив, чтобы следующие здравицы были посвящены напрямую каждой из участниц вечеринки, разумеется, по выбору тостующих. Идея была с воодушевлением поддержана. Все выпили и расселись по местам. Одна Кабира лишь едва намочила в вине губы – их свежесть не нуждалась в дополнительных усилителях.

Селиванов провозгласил тост за белокурую Ангелину, любительницу яркой косметики, воспев её достоинства и назвав райской птицей в здешних зелёных джунглях (намёк на коридоры общежития, выкрашенные в бутылочный цвет). Аплодисменты и звон стаканов. Следом болтливый Карпович вновь взял слово и восславил чумовое обаяние Милы Краевой, попутно припомнив ей и вызывающий колер колготок, и заснеженный газон, и что-то ещё, обозначенное многозначительными намёками, но напрямую так и не названное – то ли запутался и напускал туману, то ли была между ними какая-то общая тайна. И снова шум, смех и стеклянный звон.

В этот миг Разжогов остро, до жаркой дрожи осознал, что пришёл его час – или теперь, или никогда: не воспользоваться обстоятельствами – преступление против возведённого им храма, против гулко ворочавшихся в нём, Разжогове, как дальний гром, одновременно окрылявших и сковылававших чувств. Будто сияющая трещина молнии расколола тёмную тучу в его душе. Будто кто-то неведомый легонько подтолкнул в спину: «Твой ход – ходи!» И он поднялся над столом. Поднялся и сбивчиво, но каждый раз выправляясь и находя нужные слова, сказал... Сказал, что есть стрекот и звоны летнего луга, есть певчая вода на перекате – её струи, как струны, есть музыка высоковольтных проводов и хор фарфоровых изоляторов, есть литавры небес, симфония звёзд и цветомузыка радуги, – весь мир звучит. И Кабира – тоже музыка, которую, раз услышав, больше не забудешь...

– Знаем, знаем! – хохотнул Карпович. – Есть такие песенки – репей!

Но Разжогов уже сказал, что хотел. Кабира слушала, потупившись, потом посмотрела Разжогову в глаза, и в этот миг он безнадежно и радостно понял: готово, дело сделано, ему не избежать того, что уже давно, туманное и неясное, неодолимо надвигалось на него. Всё былое тут же показалось Разжогову жалким вздором перед этим взглядом. Именно этой минуты он ждал и боялся, потому что за ней – или что-то невыносимое, ужасное, как гибельная снежная лавина, или счастье.

Очнулся он от звонкого:

– Нет уж, нет уж – до дна! До дна!

Это Мила подбадривала Кабиру, которая, запрокинув голову, судорожными глотками – видно, что ей было не в привычку, – допивала из

стакана вино. На глазах сокурсников подобное происходило впервые – похоже, это была новость и для самой Ежовой. Что случилось? Такова сила произнесённого им тоста? Разжогов, чуть подогретый водкой, приятно льстя себе, подумал, что человеческая речь, если это не чепуха, не вздор, не порожнее дуновение бла-бла-сферы, обладает собственной энергией, как обладают ею огненная или водная стихии – вовремя сказанные *правильные* слова способны повелевать людьми, способны спасать и губить. Это было откровение, это была простая и несомненная истина. Именно так – спасать и губить... Ибо горе тому, кого *правильные* слова застали врасплох.

Потом звучали новые тосты – говорил Овечкин и другие... Никто не остался без внимания – все присутствующие барышни были отмечены и учтены. Включили музыку, погасили светильник под потолком, зажгли настольную лампу – в полумраке комнаты начались танцы. Разжогов видел, что Кабира опьянела, – она нетвёрдо покачивалась в объятиях Карповича, руками обхватив его шею, как опору, он что-то нашёптывал ей на ухо, она смеялась. Почему Разжогов допустил? Виною тому всё та же рыхлость породы, млеющей тогда, когда нужны решимость и отвага. Потом все снова уселись за стол, говорили речи, пили... Кабира совсем *поплыла*, и назойливо крутящийся вокруг неё Карпович, придерживая Ежову за талию, вызвался сопроводить безвольно обмякшее тело до комнаты. Белокурая Ангелина вполголоса напутствовала: – Карпуша, не теряйся!

Мила нехорошо улыбалась, пружинки локонов на её висках дрожали. Разжогов подумал, что женщины – даже при видимой приветливости – беззаветно ненавидят тех, кто чище, способнее, целеустремлённей их, и этого греха никогда и никому не прощают. Да и мужчины не многим лучше... Он хотел напиться, но у него не получалось. Отчего же реальность такова, что без оговорок принимать её можно лишь украшенной воображением? Почему холодный взгляд на вещи, позволяющий увидеть их такими, каковы они есть, – не более чем ещё один способ самоубийства? Чем эта комната и эти люди лучше тех мрачных забегаловок и шалманов, от которых он бежал? Те же лукавые и нечистые лица, тот же грубый флирт и блестящие от майонеза губы... Да вот они, эти губы – перед ним. За столом уже играли в детскую бутылочку, и Разжогову выпало целоваться с Краевой.

В этот миг кто-то вошёл в полутёмную комнату и сказал:

– А Карпуша-то с Ежовой, кажется, договорился.

* * *

Как Разжогов отбросил целующую его Милу и выскочил из логова Селиванова, он не помнил. Дверь в комнату Кабиры была приоткрыта, вероятно, соглядатай, принёсший весть, не потрудился её затворить. В полутьме Разжогов увидел кровать, на которой, подмяв под себя тряпично расслабленную Ежову, возился Карпович – одной рукой он обнимал её за шею, другой шарил под задраным подолом. Своими губами Карпович ловил губы Кабиры, и та, вяло отбиваясь и тщетно сиюсь освободиться от навалившегося на неё груза, вдруг замирала, стоило ему впиться в её рот, сдавалась, как будто в этот миг происходило что-то совершенно её подавляющее или, напротив, – оправдывающее, искупающее все мучения. Но как только он отрывался от её рта, тело Кабиры выгибалось, и она вновь пыталась выскользнуть из-под взгромоздившейся на неё туши.

Разжогов подскочил к кровати и резко сдёрнул Карповича на пол. Соперник был плотный, коренастый и тяжёлый, как дубовый комель, но охватившая Разжогова дремучая ярость придала ему сил.

– Ты что сдурел? – поднялся на ноги Карпович. – Пошёл отсюда!

– Она же не хочет! Она же ничего не понимает! – едва сдерживал гнев Разжогов. – Она же пьяная в шапито!

Кабира лежала без движения, отрешённая и, казалось, вовсе не замечающая происходящего.

– Тем лучше, – не разглядев в сумраке огненного взгляда одноклассника, хохотнул Карпович. – Проваливай.

– Вместе, – отрезал Разжогов. – Уйдём вместе.

– Да пошёл ты! – Карпович с силой оттолкнул его локтем. – Ушёлёпок!

И тут же получил удар в челюсть. Сработала мышечная память – удар у Разжогова вышел резким и по-боксёрски точным. Карпович снова повалился на пол. Ухватив упавшего за ворот рубахи, Разжогов выволок его в коридор, где бил по лицу уже не спортивно, в кровь, куда придётся, не давая подняться на ноги давно переставшему сопротивляться противнику. Да тот подняться и не пытался. Подоспевший Вася Овечкин едва оттащил разъярённого Разжогова от его жертвы. Собравшиеся на шум обитатели этажа с испугом смотрели на побоище.

Оставив Карповича с разбитым в кровь лицом на полу коридора, Разжогов вернулся в комнату Кабиры. Она сидела на кровати, прикрыв ладонью рот и едва сдерживая сотрясавшие её рвотные спазмы. Разжогов схватил мусорную корзину с заправленным в неё полиэтиленовым пакетом и поставил перед Ежовой: как раз вовремя – её тут же вывернуло. Жалкая, бледная, с мокрыми бессмысленными глазами она походила на человека, только что угодившего под поезд и чудом выжившего. Кабира откинулась на подушку, но новый приступ рвоты вновь бросил её к корзине...

Потом в душевой, под холодным дождём из гибкого шланга Разжогов неумело отмывал Кабиру, намочив ей всё платье. После этого, закинув её руку себе на шею и крепко обхватив за талию – она по-прежнему была пьяна, – отвел в свою комнату, снял с ней мокрую одежду и уложил в постель, накрыв одеялом. Сам лег на пустующую не заправленную кровать и отвернулся к стене. Он долго не мог заснуть – всё случившееся потрясло его, горячие вспышки красными бутонами распускались у него под веками, стоило ему закрыть глаза. Но виной бессонницы было не только это... Лежавшая в полутора метрах от Разжогова хрупкая голая девушка, такая желанная, такая доступная, такая беспомощная, искушала его своим тихим дыханием, заставляя изнемогать и проявлять чудеса сдержанности. Нежность, жалость, вожделение – всё существо его искрило от мятущихся чувств, как искрят под напряжением оголённые провода... В конце концов он заснул.

Разжогову снилось, что они с Кабирой едут вдвоем в поезде: смотрят то друг на друга – глаза в глаза, – то в окно, и для снизошедшего на них умиротворяющего блаженства этого вполне достаточно. Он слышал ритмичный шёпот колёс, и из этой счастливой поездки ему не хотелось возвращаться – он готов был ехать день, два, неделю, и чтобы за окнами так же мелькали неяркие поля с кустами в утренних туманах, еловые и сосновые леса, тихие реки и станции, названия которых он не успевал прочесть... Но утро навалилось в срок, строго по расписанию, как расплата за нечаянную радость этого сна.

Разбудили Разжогова влажные, полные отчаяния всхлипы – на кровати, по горло завернувшись в одеяло, плакала Кабира. За окном уже светило солнце и на голубом, не по петербургским правилам весеннем небе были разбросаны редкие, белые, с подводами мягких теней облака. Голые ветки клёнов шевелились на ветру, то застывая, то разыгрывая стремительную пантомиму. Одинокая ворона на дереве обламывала клювом упрямый прутик – сгодится, чтобы вязать гнездо.

– Брось, – сказал Разжогов. – Ничего не было.

– А почему я здесь? – В этом вопросе заключалось столько детского обезоруживающего недоумения, что Разжогов не сдержал улыбку.

Он всё рассказал ей. Всё как было. Но несчастную Ежову его рассказ ничуть не успокоил.

– Какой ужас!.. – закрыла ладонями лицо Кабира. – Боже мой, какой позор!

Вид у неё был помятый и бледный, глаза полны слёз. Смущённо натянув так до конца и не просохшее платье, она выскользнула из комнаты, запретив Разжогову провожать её.

Что именно Кабира имела в виду, закрывая ладонями лицо, он понял позже, когда к своему удивлению обнаружил, что никто, кроме Васи Овечкина, не верит, будто к Ежовой, оставшейся у него на ночь, он даже не притронулся. Он честно признавался тем, кто такого признания заслуживал (Селиванов, ещё два-три сокурсника), как было дело, но в ответ получал лишь хитровато-проницательные взгляды, словно бы говорящие: «Ну-ну, конечно, понимаем, девичья честь и всё такое... Но мог бы и сказать как на духу, ведь тайна в нас умрёт, ведь мы – могла...» Если не верили ему, то кто же поверит ей? Кто?

Разжогов и рад был бы помочь до крайности удручённой случившимся, такой трогательной в своём смущении и такой беззащитной перед вмиг разбежавшимися слухами Кабире – подставить плечо, взять под крыло, как-то прикрыть от насмешливых взглядов, – но вскоре, несмотря на заступничество старосты группы Овечкина и к вящему злорадству Карповича, его приказом по университету отчислили за учинённые «пьяное бесчинство» и драку в общежитии. Просить о помиловании декана Артёма Михайловича, вполне способного на понимание и сочувствие, было бессмысленно – подписанный ректором приказ обжалованию не подлежал. Через два дня после того, как об отчислении известили коменданта общежития, тот выставил Разжогова из комнаты. Налегке – всё имущество уместилось в наплечной сумке – он уехал в Светлый Яр, где загулял от обиды и несправедливости, спеша набеситься вдоволь и налюбоваться впрок в тех самых постылых забегаловках, которые ещё не так давно душа его, облучённая сиянием Кабиры, отвергала.

А полтора месяца спустя, в мае, Разжогов по повестке отправился на срочную службу.

Через год, которого оказалось достаточно, чтобы расстаться с юностью, одолеть рыхлость характера, вправить на место мозги, научиться ценить одиночество, но не озлобиться и не поломаться, он вернулся на гражданку, вынеся из опыта службы на удивление лишённую всякого

казарменного остроумия заповедь, которую вбивал салагам в мозжечок сержант – мол, в биографии *мужика* должны быть три этапа: до армии, в армии и после армии. Третий как раз теперь и открывался перед Разжоговым, словно девственная белая страница. И он знал, как следует этот лист заполнить. Поэтому прежде всего отправился не в родной волжский Светлый Яр, а в Петербург, в Межвузовский студгородок на Новоизмайловский – к Кабире, с которой не расставался в мыслях всё это время и чей образ весь армейский год ласкал и ранил его сердце. Ведь забыть – и значит разлюбить. Он не забыл. Он помнил. Её лицо, шея, глаза, волосы, губы... Особенно губы – они по-прежнему дышали свежестью и манили.

Да, он точно знал, что в первую очередь следует вписать в этот безупречно белый лист. В его мечтах Кабира была всё та же – кроткая, вдумчивая и целеустремлённая, не перестающая удивлять профессоров прилежанием, глубиной познаний и чистотой помыслов. И для неё, такой трепетной и ранимой, он готов был стать верным и надёжным рыцарем – опорой и защитой, – спасибо марш-броскам с полной выкладкой, мудрому сержанту и прочим отцам-командирам...

Он шёл от метро «Парк Победы» к корпусу общежития, узнавая и не узнавая город. Тот всё так же был одет в асфальт, бетон и штукатурку, но многие магазины, которые год назад торговали галантереей или канцтоварами, теперь поменяли ориентацию и продавали рыбу или обувь. Одни вывески уступили место другим; тротуары местами облагородила новая плитка; мороженщик укладывал сладкие цветные шарики в вафельный факел, а год назад укладывал в стаканчик; на улицах появилось много девушек с кольцом в носу... Город был тот же и при этом менялся, как Протей, как прошлое. По прихоти скакнувшей мысли Разжогов подумал, что такое же чувство узнавания/неузнавания порой испытывает человек, когда в записи слышит собственный голос – тот кажется ему своим и вместе с тем чужим. Ведь сам он слышит себя не так, как слышат его другие.

В небе стояли холмы облаков. Из открытого окна звучал рояль. Впереди Разжогова шли две немолодые женщины с продуктовыми пакетами. На одной были туфли с косо сбитыми каблуками, на другой – цветные кроссовки из эрзацкожи. Та что была в туфлях, говорила наперснице:

– А кто кому теперь нужен? Я мужу-то своему, не уверена, что нужна. Благо третий он у меня. А в груди-то пылко, горю прямо вся – возраст такой, женский финал проклятый на подходе...

В знакомой Разжогову комнате Кабире не оказалось – там обитали другие студентки, встретившие его приветливо, однако ничего определённого о проживавшей здесь прежде Ежовой не знавшие. Будь на их месте незабвенный сержант, он бы ответил коронным присловием: «Хрен его знает, товарищ майор, собака след не берёт!» – а эти просто с улыбками мотали головами. Тогда Разжогов отправился к Дане Селиванову – тот по-прежнему занимал ту самую комнату, где когда-то они – как давно это было! – поздравляли сокурсниц, и где Разжогов впервые в своей жизни произнёс *правильные* слова. Слова, возымевшие силу.

Селиванов и рассказал ему, что случилось с Кабирой...

Поначалу она ещё как-то держалась, ходила по факультету и общежитию точно затравленный зверёк, втянув в плечи голову, – ведь в глазах всех она постыдно пала, умудрилась за одну ночь – с двумя, из-за кошачьего распутства стала предметом нечистоплотного мужско-

го дележа, а представлялась-то – снежинка, гимназистка, недотрога... Так пала, что и не подняться. То есть иная, может быть, и перетерпела, закрылась бы, как моллюск в ракушке... Но не Кабира. Она потерялась – не знала, куда ей деться: приходилось сносить грязноязыкие пересуды, краснеть от двусмысленных намёков и циничных шуток... А эти ехидные колючие взгляды в лицо и подлый смешок в спину? И она сломалась. В самом деле слишком тонка оказалась нить ожерелья её жизненных правил. И бусины рассыпались. К искреннему огорчению Инны Карловны Кабира потеряла вкус к учёбе, следом понемногу пристрастилась к вину. В сентябре на втором курсе стало ещё хуже – тихую, запуганную, мстительно раздавленную за былую невинность и *правильность*, её подпаивали кому не лень, она сделалась доступной... В зимнюю сессию её отчислили за академическую неуспеваемость. Некоторое время она ещё жила в общежитии, переходя из рук в руки и ночуя в чужих постелях. Она смирилась с этим позором и сносила всё прежде для неё несносное, потому что вернуться домой в Орск казалось ей ещё бóльшим позором.

В конце концов – видимо, по подсказке родительского сердца – за ней приехала мать. Она едва узнала дочь, так сильно та переменялась – лицо осунулось и черты его огрубели, плечи поникли, под погасшими глазами лежали тени... Вместе они уехали домой и больше о Кабуре здесь никто не слышал.

* * *

Вечером Разжогов с Васей Овечкиным сидели на дворовой террасе клуба Fish Fabrique и говорили о счастье. Поезд Разжогова отправлялся в 00:12, до вокзала от клуба было рукой подать. На столе перед ними стоял наполовину пустой графин. Вася по-прежнему много курил, шею его охватывал хитро закрученный лёгкий шарфик, словно он собирался удавиться, а не уберечься от простуды.

– ...Потому что нам недоступно счастье, – говорил Овечкин. – Только и всего. Недоступно, даже когда исполняются наши заветные желания. Ведь мы изгнаны отсюда, из обители благодати, в тот мир, где её нет. Не удивительно, что опустошение и тоска охватывают нас всякий раз, едва мы добиваемся цели...

Огромная, размером со вселенную, вина давила грудь Разжогова.

– Не понимаю... Почему? Ведь я хотел как лучше... – Он наполнил рюмки. – А вон как вышло. Сначала сказанные мной слова с их губительной силой, а потом... потом я сам, желая её спасти – её же погубил. И сбежал, и бросил, и предал... Почему всё пошло не так? Почему всё вывернулось ливером наружу?

Разжогов раскаивался в содеянном и постанывал от стыда, как от зубной боли. На губах Васи застыла горькая улыбка.

– Вот видишь – сам ход вещей даёт тебе понять, что оно, счастье, не отсюда. Ну, или это мы не там. – Овечкин залпом опрокинул рюмку. – Не там, где оно водится. А раз так, то самые невыносимые муки, самые горькие душевные страдания, какими мы страдаем, – не более чем фантомные боли. Болит то, чего у нас нет. Уже нет. Чего мы лишены.

– Раньше ты говорил, что книга мира написана на языке математики... А что теперь? – Разжогов смотрел на сложенные перед собой руки. – Не понимаю... Как это – болит то, чего у нас нет?

– Болит же у человека отрезанная нога. Допустим, какая-то наша часть осталась там, в обители счастья, из которой мы были изгнаны. И эта отрезанная часть болит. Везунчик – тебе дано это почувствовать. – Овечкин, как худосочный петербургский дракон, выпустил из ноздрей две струйки дыма. – Почувствовать и по складу этой болезненной нехватки представить, чего мы лишились, – ощутить, каков он, утраченный рай. Мне – не дано. Не буду даже и пытаться... Тут математика бессильна. Несоответствие лучших устремлений человека устройству мира, в который он низвергнут – вот истинное подтверждение бытия Бога. Так доказывал Его существование Паскаль.

– Но что же делать с болью?

– Ничего. Терпеть, скорбеть и искупать. – Овечкин погасил в пепельнице окурок и тут же закурил новую сигарету. – Слышал, наверно, что внутриутробное развитие повторяет основные стадии филогенеза организма.

– Чего?

– Понятно... Так вот, что-то подобное происходит с людьми и после рождения. То есть изгнание из рая всегда случается с нами вновь – как земная мистерия, как важнейшее в жизни событие... Допустим, прощание с детством. Да... Мы расстаёмся с ним резко, разом, хотя потом эта резкость стирается в памяти и как-то сглаживается... Но само детство, если оно было хоть чуточку детским, остаётся для нас раем и родиной души. Отец там всегда самый сильный, а мать – самая красивая. Там тебя любят просто за то, что ты – это ты... И там ещё ничего не известно о смерти. Только в момент изгнания открывается эта нелепость – что в мире есть смерть и она непременно придёт за тобой.

– Не только смерть. Ещё там обман, подлость, предательство...

– Ну да, и обман. Теперь, после изгнания, он заполняет всю нашу жизнь – до крышки гроба. Недаром сказано: будьте как дети. Будьте как дети, иначе нет вам дороги в Царство Небесное. Потому что это царство – их. Понимаешь? Их – уже не наше. Оно, это царство, – без смерти и без лжи – детское. И нам нечего там делать с нашими законами эквивалентного обмена – они всё равно в тех краях не работают.

Вечер был светел, как бывают светлы майские петербургские вечера. Запах табачного дыма мешался с запахом кофе, доносящимся из открытой двери клуба, сразу за которой располагалась барная стойка с кофемашиной. Разжогов смотрел на свои руки и думал: пусть так, пусть он не будет счастлив, пусть счастье не там, куда изгнан человек, но... он не сможет её забыть. Он никогда не сможет этого сделать. Он будет помнить Кабиру всегда – ведь она подарила ему знание того, какого чуда он лишён.

Именно так – время врачует, но сколько бы слоёв прошлого на эту рану ни легло, он будет помнить Кабиру всегда, до последних дней. До той поры, пока небесный сержант не скамандует ему освободить землю и сдать тело.

Разжогов нащупал в нагрудном кармане билет. Поезд на Орск с пересадкой в Москве отправлялся через два часа.